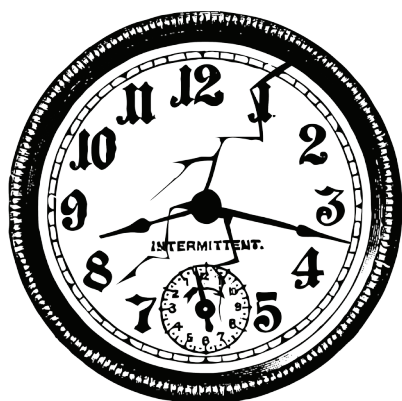


Ночь Бельтайна  
ожидаю все, что в эфире написан  
содержимое принять в хорошем  
и попросу читателей этого труда моего  
Ночь Бельтайна



Потом иду по дороге к холму. Там мелькают какие-то огни, и мне интересно. Какой-то праздник. Звучит музыка. Громкая. Огни. Шатры. В них что-то готовят. Пахнет сильно и разнообразно. Ветер бросает запахи прямо в лицо, мешая с другими. От них дурно, сглатываю комок в горле. Дальше музыка, силуэты кружатся. Плавно и дергано. Одежда разная. Много их.

Подхожу ближе.

Бойкие громкие рифы отрываются, отражаются от земли, от неба и стелются под ноги веселящимся людям. Хоровод впереди собирается, вот распался, пары кружатся.

Оглядываюсь.

Люди стоят кружком. Стоят и слушают. Тоже прислушиваюсь. Тишина. Только поют рядом, ветер шуршит в боярышнике наверху. Цветы набухают. Одна ветка надломана. У верхушки болтается.

Голоса в тени дерева. Слышу, как пахнет. Мне нравится.

— Дракона?! — выдыхает злой голос. — Все драконы сдохли еще раньше, чем эти момзеры принялись резать друг друга на тродах. А с моста он сам упал, жизнь свою никчемную...

Шипит букой-под-лестницей. Мне не нравятся буки. Отворачиваюсь торопливо, не слушаю, и иду дальше, и слушаю темноту. Она яркая. Ее тело изрезано колокольцами фонарей, изгрызено лентами-червяками огней от подвешенных звезд-гирлянд над шатрами. Тоже хотят быть прямыми и яркими. Им нравится эта теплая темнота. Она...

*Не просто так, не просто так,*

*Совсем не для красоты!.. —*

Песня прорвалась в уши, спутав сигнальную цепь огней.

Останавливаюсь резко. Надо распутать огни. Врезаются в спину, едва не сбив с ног. Оборачиваюсь. Луна в паутине — прекрасней музы прерафаэлиты.

Я перестаю дышать, хотя так люблю это делать. Шуршат многослойно шелка глубоким размеренным *шшшш*, жемчужная сетка в длинно и черным пахнущих косах, глаза, зеленые, как лист под ярче яркого фонарем.

Бледное видение звонко хохочет и отстраняется, кажется, я извиняюсь. Я смотрю на ветровку яркую, на говор ее, как шелк быстро-мягонький, на заколочки в волосах и глаза — полированный малахит. Хохочут они. Должно быть, и правда смешно.

Ретируюсь, но руки еще видят прохладный шелк, не плащевку, и не хотят больше знать ничего.

Заглядываю в один шатер, другой. Блестит в траве что-то. Глаза не слышат, туфелька слышит. Загнулась. Упала почти. Руки теплые, ладони широкie, не падаю.

Турок в длинном пестром кафтане, штаны его широкие, вижу — шуршат. Опустила взгляд послушать, чем меня опрокинуло. Туфлю вижу, в узорчиках и бусинках, как цветочки вышиты. Рядом белеет в траве кругло, два уса торчат, хвост.

— Ба,— говорит.— Ваши часы, фрау?

Мотаю головой. Не хочу часы.

Ставят на ноги. А рядом уже собрались. Два низких, турок, высокий. Смотрят на кругленькое. Круглое говорит.

И они говорят, и вертят все эти часики. Похоже, хотят вернуть. Гулко басит высокий. Он еще и широк.

Смотрю на голову высокого. Колтуны, веточки всякие. Короткие пряди торчат надо лбом, ни дать ни взять рожки высунулись.

Что-то трогает меня за штанину. Дергает резко.

Опускаю голову, кажется, даже отпатываюсь. Думаю — усы сбежали вниз, мстят?

*К одной поляне все ползем,*

*К одной реке летим,* — гаркает снизу. Человечий детеныш резво проползает между моих ног, в лесном соре весь, на спину мешок привязан, панцирем от черепахи или улитки, ползет резво дальше.

Люди ахают, отпатываются.

Я стою, смотрю.

Слышу слева, шатер уже приоткрыт, внутри тени мелькают: озорно, длинноного покачиваясь на стенах.

Пока смотрела, разбредаются. Тени за ними по траве медлят, но тоже идут.

*Вечно, вечно все за одного!* — слышу.

Тоже за ними хочу идти, но снова слышу. Нет близко деревьев, из шатра слышу. И голос мягкий, такой, что увидеть сразу хочется.

Брошка на лацкане пиджака подмигивает мне глазом-стекляшкой. Я знаю, она одобряет то, что я думаю. Когда моя подруга недовольна, она никогда не подмигивает. Никогда.

Я прячусь. Подлезаю.

Ширма внутри. Сидят за ней, как соловушки. Голос тот, мягонький:

— Почти полгода будет.

— Полгода через два месяца.

— Все так, но лучшая ночь — эта. — И звякает что-то. Булькает громко, как ручей говорит. — За него?

— За него. За то, чтоб дух его низверг все преграды и достиг счастливой Солнечной страны.

Снова звякает. Сажу в уголке. Жду.

Добулькало.

— Жаль мне только Первинку, хоть она и Аням, — признается соловушка. — Горевала она по нему.

— Тогда горевала, а сейчас ее праздник. Слышишь? Уже играют. Зиму из сердца вон.

— Зиму из сердца вон, — отвечает соловушка эхом.

Снова звяк и бульканье.

Скучно. Хочу уходить.

— Но он, хотя бы, поверг чудовище...

— Изволь, злые языки болтают, что просто упал с моста.

— Пьяным.

— Это сатиры. Позволь мне опустить версию Медной Шишки.

— О, ну что ты... Брань нокера — сладкий яд на твоих устах.

Выскальзываю, я лучше всех спрятана. По волосам мазнуло легонько, щекотнуло ухо. Голову поворачиваю и темным перед лицом болтается, как лапка разжатая — связка бусинок, перьев и небольшое фото с ладонь: лицо, в чертах резкое, широкое в скулах и острое в подбородке. Не настоящее.

Пахнет. Голова кружится от одного запаха. Хочется есть. Шум за тонкой полотняной стенкой сразу как велосипед, он скачет по бульжникам, катиться, так и они...

Чувствую себя разочарованной.

Но — тени снова мечутся, сизо-синим молоком. Лягушка бросает мышей, подхватывает. Хохот гремит, шуршует смехом.

Выглядываю.

Гигант рядом с карликами, вертит вертящую ношу. По одному, по два. Пухлые “гири” синхронно повизгивают.

*Каждый, каждый в бой вступить готов!*

Ходят мимо, бегают мимо, я стою. Вот большая Берта, а там толстый Ганс. Толстая Маргарита сидит на корзине с яблоками, а рядом лежит на вид покрепче щуплый парень в зеленой рубашке и джинсах, в руках гитара, на губах оскал довольного Рейнке, узнавшего как на сей раз оставить в дураках всех грубоватых, но незлых.

Останавливаюсь в сторонке, прячу узкие кисти в кармашках джинсов. Наблюдаю. Огоньки сползают по мелким “зубам” фонарей-гирлянд, слышу как падают-растекаются по атласным рукавам той, что на другом краю круга. То хлопает, то смеется, глядит за ужимками мелюзги.

Прозрачно-темный цвет неба поет мне тихонечко. Басами вторят кобальтово-черные тени, нежно позвякивает, касаясь ветками, голая умбра стволов... по стеклу? Нет, тогда бы точно почувствовала.

— Поднимем же чаши за счастливую пару, и да продлит Греза годы их счастья в мире и процветании!..

Очень красивая. Куда красивее Гольдшмидт. Пытаюсь запомнить, как можно быть красивой.

Поляна распустилась дневными цветами от курток бархатных, ярких, вызывающе белых манжетов и плащей в других, говорливых цветах.

Стоит напротив с гримасой смущенного Изегрима. Жаль, нигде не видно Эрмелины другого. Должно быть, чудесная пара.

*Не страшно ничего...*

— Совсем не страшно, — соглашаюсь с песенкой вслух.

И пячусь от взмахов пышных усов Изегрима. Шерстист — и правда волк? ...*Вместе, вместе, вместе мы летим.*

*Смелей, жуки! Ведь нам, жукам...*

Громкое дыхание. Откуда-то сбоку. Обезьянка бросается вверх, цепляется за обхватившую зверьку могучую руку.

Какая храбрая. Живет тут?..

Булькает. Ползут по траве. Славят музу и Изегрима.

У музы роскошное светлое платье тяжелого шелка, украшенный жемчутом пояс и темные, со шнуровкой, рукава, как у Пии де Толомен. Сматываю, и красота тает. Просто лучик оборвать.

Сажусь в уголке.

Топочут мимо, величаво волоча по гирляндам натянутым шитым холстом. Разглядываю серп полумесяца, странное сплетение лент, а в другой руке он держит леденец. За ним проносятся его свита, там два других сорванцов.

*Не страшен ветер нам и дождь,*

*Не страшен длинный путь,* — горланят.

— Не мог благородный воин сокола так погибнуть! Он с проклятым схлестнулся, ей-ей, — доказывают Изегриму.

Разошлись. Иду наугад, увлекаемая людским кружением и отпугиваемая костром.

Снова карлики. Шумят.

Подхожу ближе, вижу: не карлики. Дети. Сахар, не кровь.

Эрмелина? Одежда в цвет неба и кружится, пляшет меж стойками-фонарями вспугнутым мотыльком. Огоньки в локонах рыжих мелькают, выходят сразу, кружатся в блошином вальсе по волосам и плечам. И я кружусь, будто все так и надо.

Снова вижу щегольски-яркий воротник Изегрима.

На ней — атласная блуза с широкой каймой, остро сверкающая в огнях. Не платье. Кудри черные, маленькое и бледное лицо. Так вот ты какая, муза.

Первые люди прошли с подносами, кувшинами. Ярко одеты, укутаны в шум и смех. Поддерживают друг друга за плечи, проносятся мимо меня. Успеваю парашннуться в сторону, но закрутили и вот я посреди походной пивной.

*Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля!* — пробегающая мимо стайка сорванцов, когда я хочу идти дальше.

Мальчишки, верно, погодки. Один рослый и крепкий — молодой дубок, а рядом орешник — озорной и длинноногий жеребенок.

Смешной.

Прохожу дальше, шаг-шаг. Каблуки вязнут, упираются в грунт. Куст, и выныривает ковер, яркий, цвета клубники, там двое. Вижу коротко стриженный темный затылок и поворачиваюсь торопливо туда. Турок? Первым, что вижу, поднимаясь вверх — огни. И ленты на ветках. Несколько, похоже, цветные. Они говорят, как только может говорить цвет. Черное так не говорит. Белое тоже.

Кружу дальше, мимо шатров, толкавшейся — откуда так много? — публики. Толпа кажется праздничной и, кажется, даже рада мне. Смеются, улыбаются. Люблю, когда мне рады. Из теплой темноты ныряю в темноту холодную.

*Поверьте нам — друг друга мы*

*Покинуть не хотим;*

Первым бросается в глаза золотистый цилиндрик нарядного колпачка. Потом изогнутые луком от широкой улыбки пышные усы, и говорят, что Бетти милая девочка, странно, что я ей не...

Что-то липнет к подошве туфли. Неприятно.

Я стучу каблуком по земле. Думаю, повторила. Три раза. Мне нравится это число.

Высокий и толстый, худой и тонкий. Прокатываются мимо, к низу холма, громкие, как древний тамтам.

*O, du lieber Augustin, Alles ist hin*, — старательно выводят из пивной. Думаю как все похоже на двор, каким его описывают миннезингеры и рисуют поэты.

Вот смелые силачи-драчуны... нет-нет, рыцари, вот акробаты и разнолицые уродцы; вот весь игрушечкой, вылепленный в инее, шатер королевы. Перстенок с ее руки. Полог прикрыт.

Принюхиваюсь к толпе, удивляюсь.

*Торчат подобьем острых пик*

*У каждого усы...*

Спинка и гибкий хвост маленькой обезьянки. Как раз вскинула голову, шипит, обнажив даже издали страшные зубки. Но ей до меня далеко.

Прожаживаюсь, рассматриваю людей.

Дракона.

Кто так шипит ядовито в углу? Разглядываю стеклянный шар сбоку от незнакомца, весело бегает блики по ковру, коврам. Блестят бусинки и бусы.

*Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля!*

Маятник карусели в стороне — меж двух могучих деревьев. Кто-то катается, длинные мелькают ноги, черными прутиками в «узелках» лодыжек, коленей. Одежда людей — куртки джинсовые и бархат на руки, обезьянка не забывает напоследок как следует меня обшипеть.

Понравилась. Спрашивает, не испугалась ли я.

Песня от костра звучит, теперь попадает в тон голоса турка, в такт едва заметного. Мельком заглядываю внутрь.

*Я — храбрый жук, ты — храбрый жук,*

*Нас семеро жуков*, — звонко поет голубой, басом отзывается зеленый, тут много зеленого, опережает запоздавшую зелень на ветках. Каждый звук неродной для меня речи, а звуки-кашечки сбегают с языка сами, я не замечаю, как...

*Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля!*

*Вот как, вот как — острые усы.*

*Шииш*, — говорит мне темнота.

Нежным подснежником вырастает по правую руку шатер с кружевным изысканным верхом.

“Вот бы и мне дома такое”, — решаю. Украшение сразу понравилось.

— Простите, — говорю я. Слежу, как слушаются губы, четче выговариваю, не упущу.

*Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля!*

*Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля!*

И снова тараторю:

— У вас прекрасная обезьянка!

*И если надо в бой вступить,*

*Любой из нас готов...*

Впереди всех скачет мальчик на игрушечной лошадке. В гриву игрушки вплетены атласные ленты. На лентах — бубенчики.

*Вперёд, жуки! Один за всех,*

*И все за одного.*

*Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля!*

Он, в свою очередь, легко кланяется, прощаясь, и тоже дает задний ход.

Большие тёмные глаза и брови как у Злой королевы, высокую шею обняло серебро-паутинка и жемчуга. Шелковый шарф лежит на плечах срезанным с Луны лучом, и...

*Чуть-чуть, чуть-чуть... мы боимся птиц!*

*Боимся мы чуть-чуть...*

Исполни все играет с детьми. Майское древо с игрушками.

Кричат.

Смотрю в траву.

Там лунный луч в паутине. Прямой и тонкий как осока.

Смотрю. Долго. На черты музыки, прямые и тонкие — лик юной Джейн Берден.

Тень синяя на шее. Яблоко уже увели.

Фигуры кружатся, черные в свете расставленных фонарей. Еще дальше — костер. Пламя яркое.

Все еще кричат, и я плаваю.

Смотрю.

*Рассказ мастера Цепелина, доброй химеры и оруженосца*

Трижды славься, великий герцог, и двор его! Славьтесь, благородные дамы, бесстрашные рыцари и хитроумные простолюдины! История, которую я, скромный мастер Цепелин, собираюсь вынести на ваш суд, случилась под Рождество, ныне минувшее. И пусть я был только верным слугой и добрым оруженосцем благородного Юноши, о судьбе которого пойдет мой рассказ, однако беру на себя смелость держать перед вами слово и развеять честной своей повестью все злые наветы на имя юного баронета.

В тот день он, как и всегда, поднялся с первыми лучами солнца, и сам славный герольд Саннэ, как было заведено в его обычае, поприветствовал герра Хервига с наступившим днем, от всей души желая юному рыцарю доблестных подвигов во славу Грезы.

Поднявшись с ложа и облачившись в одеяние, достойное положения своего, он обошел дом, понаблюдав за тем, как продвигались приготовления к празднику, а шли они полным ходом. О, вонистину, это Рождество обещало стать лучшим за все последние годы! Пушистые лапы елки сгибались под

сладким бременем навешанных на них всевозможных карамелей, пряников, красочных игрушек и пестрого серпантина

Но разве сможет удержать рыцаря тихое течение дней и заведенный уклад, наводящий скуку даже на людей, этих добрых обывателей?.. Тот, в чьем сердце неугасимо сверкает пламень Лета, не сможет остаться в доме, и понесет жар своего сердца за прочные стены, во внешний мир, истребляя зло и утверждая справедливость.

Прицепившись, по своему обыкновению, к вороту его камзола, я, верный оруженосец его, последовал за ним в добрый путь, гадая, какой подвиг задумал на сегодня мой повелитель.

В тот день герр Хервиг удивил меня тем, что был необычайно тих и немногословен, и чем дальше удалялись мы от стен нашей башни, в тем большее волнение приходил я — ведь всем вам был знаком словоохотливый и веселый нрав моего господина.

Но я воспитан был в старой закалке и не отомкнул свои уста оскорбившей бы моего господина тревогой. Небо над нашими головами было ясным и безоблачным, конь его был в порядке, владение отца его справно, и никакие бедствия не нарушали покой фамильного его фригольда, где реками тек хмель, а бабушка Тишина не часто устраивалась со своей пряжей во всегда многолюдных залах.

Это знаменитая меланхолия Ши, — думал я, и складывал свои передние лапки в жесте, издревле идущим у моего народа за знак особого умиления.

Я еще больше утвердился в своем предположении, когда понял, что дорога, которую избрал он, ведет в книжную лавку. И подумал я тотчас: Желал мой господин преподнести книготорговцу рукопись сонетов собственного пера или купить что-то сам? Но снова не оскорбил его слух ни единым вопросом, ведь расспросы, уж простите старой химере его прямоту, более подходят добрым сплетницам или малым Детям.

Наш путь пролегал по старой улице, изогнутой сапожком, через реку по высокому мосту и дальше до известной всем вам лавки старого эшу Ганса Пепуша. Мой господин шел по самой обочине, смиренно пропуская мимо повозки, и не заговорил ни с кем, идущим тем же путем. Поднявшись на мост, мы нашли, что мороз не смог сковать быстрые воды реки и они столь же темны, как и в другие, более теплые дни.

Я учтиво поздоровался со своей давней приятельницей, старой каменной кошкой, и та пробормотала обычные слова приветствия тенями на своей шубке. Я добавил, что она весьма похорошела, и что эти гирлянды на фонарях ей ужасно к лицу, за что был вознагражден томными покачиваниями упомянутых гирлянд — верный знак зардевшейся девицы, пусть даже если она только кошка, а для большинства смертных увальней и старый мост.

Мой хозяин надолго замер на самой верхушке ее изогнутой спинки, и все глядел на воду, верно, вспоминал все слухи о драконе, поселившемся в этой заводи и не дававшем покоя реке.

Я уже разомкнул свои уста для осторожного вопроса, дабы утвердиться в

своих предположениях, но тут мы снова продолжили путь.

В лавке Ганса Пепуша он надолго застыл перед полкой с бессмертными творениями лучших мечтателей смертных, вы можете сказать мне сейчас, что где такой скромной химере как я, обучиться всем премудростям грамоты, но, по обмолвкам моего господина, оброненными им в тот миг великой задумчивости, я понял, что стоим мы перед переводом великой Иллиады, перед книгами Сервантеса, Диккенса, а вон та тонкая, но роскошно оформленная книга с изображенными на обложке прекрасной дамой рядом с блистательным рыцарем — Тристан и Изольда. Была еще одна книга, она благоухала цветами и нежным бисквитом, обложка ее была совсем непонятной, и знай твердила о том, что она в пути, но не спешит и вечно бредет в направлении... Только к чему? К человеку или же к месту?

Ах, эти фантазии смертных!

Обратно мы шли мимо лавки часовщика. Многочисленные механизмы размером с дом или же с маковое зерно самоходно тикали, рождая ужасный грохот. Но мой хозяин будто бы не замечал всего этого. И тогда, впервые за день, я по-настоящему встревожился. Солнце, наш давний приятель, к тому моменту уже скрылось за набежавшими тучами. И, если не утомил я вас еще своим рассказом, то позволю себе заметить, что когда возвратились мы, мой господин и я, верный его слуга и оруженосец, домой, мой хозяин вновь с головой ушел в чтение, не пожелав принять участие в охватившей дом веселой кутерьме предпраздничной суматохи.

Сердце мое разрывалось от смутной тревоги, однако же я был слишком воспитан, чтобы позволить себе потревожить чужое уединение, потому как имел представление, насколько сложная эта наука чтение, и глубоко уважал каждого, кто был умудрен ею, ведь именно от нее и происходит всякое колдовство.

Солнце давно зашло и местами прояснившееся небо успело прихорошиться, украсив себя превосходным праздничным убранством из звезд, когда мой господин вырвался из тисков охватившей его задумчивости и объявил, что не медля же идет к мосту.

“Для чего?” — едва не вскричал я, но вовремя прикусил язык, ведь не пристало оруженосцу повышать тон на своего господина: — “Но как же праздничный ужин?”

Я смотрел, как господин мой облачается в свой великолепный доспех, как берет со шкафа и увязывает в бумажный узел пару гантелей, добавив к тому веревку, и догадка осенила меня: “Конечно же! Он идет сразиться с недремным драконом и увенчать себя блистательной славой даже в такую ночь!..”

И с тем порадовался я, что сумел придержать свой язык и не осквернил недостойными вопросами его слух. Я привычно прицепился ко внутренней стороне его воротника, и мы отправились в путь.

Погода вконец испортилась. Споря с волшебством огоньков, ветер метался между домами, перекидывая снег целыми пригоршнями, да с той ловкостью, с какой красная шапка в придорожной таверне обыкновенно мечет нож по столу, промеж расставленных пальцев своей заскорузлой от злодеяний руки.

Казалось, сама Природа таким образом желала отвлечь благородного рыцаря

от задуманного им, но герр Хервиг отважно шел, ни на секунду не придержав свой шаг, даже когда снежные химеры, оседлав ветер, проносились по улице, обжигая стужей и корча ужасные гримасы всем смертным и феям.

Только раз на нашем пути случилась заминка. По доброму рождественскому обычаю мой господин одарил встретившееся нам Дитя Ши своим добрым напутствием и прекрасным кинжалом, а ведь с ним он не расставался со дня своего Кризалиса. Воистину, то был щедрый дар!

Так все приметы сходились на том, что биться мой добрый хозяин Хервиг намерен насмерть.

Наконец, мы пришли. Чем ближе мы подходили к мосту, тем реже нам попадались смертные, а из фей — только мальчик эшу, в яркой золотистой папочке и теплом полушубке, он перебежал нам дорогу, спеша к праздничному столу, и гремели за ним, увлекаемые веревочкой, превосходные алые салазки.

Оказавшись на месте, мой господин сноровисто освободил свой груз от бумажных покровов и привязал к себе. Я осмотрел в последний раз доспех своего господина и нашел, что он справен во всех деталях больших и малых, ремешках и тесемках, и, удовлетворившись этим осмотром и мыслью, что господин мой готов к поединку так, как не был еще никогда прежде, со спокойным сердцем я спрыгнул с его плеча на ограду моста, чтоб не мешать поединку и приготовился ждать.

Долго я просидел там на перилах моста, глядя вниз на сомкнувшуюся над головой моего господина черную воду, пока совсем не околел, а мои нежные лапки едва не примерзли к ограде.

Но мой хозяин так и не показался из глубины. Ушел ли он на водный трод или дракон пожрал его в своей утробе, то мне неизвестно.

*24 декабря. Рассказ Эриха Кольбе, баронета Хервига аеп Гвидион*

Просто открыл глаза.

Светлые обои с рисунком голубого неба и облаков, давно почти сравнявшиеся цветом. Или палевый, в сложноплетенных дубовых листьях, шелк. Яркий прозрачный луч от низкого солнца повис на стене. Он имел вид самого делового солнечного кролика, какого только можно себе вообразить, и держался за стену всеми когтями лапок. От него протянулся к окну длинный шлейф герольда солнца.

Он приветствует меня:

— Герр Хервиг, наступивший день ждет новых ваших подвигов!..

Я не ответил, и кролик переступил по стене лапками. Он всякий раз замирал, как зверь, почувший охотника, стоило мне задержать на нем взгляд, и пускался по стене вскачь, стоило хоть на минутку отвлечься.

Не в монашеской рясе и не с четками, а под звуки тамбурина с бубенцами и в шутовском наряде пускаемся в жизнь, в это паломничество к смерти...

Частый стук в дверь. Высокий женский голос трижды выкрикнул имя Эриха, добавив, что завтрак стынет.

Я вспомнил, что Эрих, кажется, я. Посмотрел на часы и понял, что снова проспал. Герольд солнца уже исчез, оставив комнату без благословенного сияния знаков своего сана.

Время.

Как жаль, что нет такой пикн, что сумела бы поднять на острие этого врага.

Меня не страшит кара, постигшая безумного Шляпника и весь его двор. Но, может, то была его победа?

Мне неприятно смотреть на людей. Морщины на их лицах. Вены на руках. С восемнадцати у них появляются первые морщины, с двадцати — проступают вены на руках. А, старея, они делаются отвратительными. Время все делает отвратительным. Даже в делах этой, никчемной смертной жизни, оно идет против меня, и я...

Стучит ко всему равнодушный ходик часов, и я встаю, одеваюсь.

В шелковую туннику, изумрудную, как холмы далекой Ирландии, в шитую золотом котту, штаны оленьей кожи и высокие сапоги.

Затем — в зеленую рубашку и черные джинсы.

Мой меч и мои доспехи покоились на стойке в шкафу, легкие и прочные, они вышли из кузни лучшего мастера, какого я только мог сыскать.

Перед тем, как покинуть покои, я накинул на плечи короткий плащ. Шлифованное золото отдало ему свой цвет, а чайная роза — лепестки для узорной тесьмы; надел поверх рубашки любимую свою жилетку, почти ковбойскую, только лучше, и вышел.

Дом благоухал хвоей, остролистом и карамелью. Кухня — корицей и праздничным ужином. Я плотно позавтракал, тем же, что и всегда. Сестра с упреком бросила мне, что сплю с открытыми глазами, на что я ей горячо возразил, но даже самые пылкие мои доводы сгорели в горне смешков и подшучиваний.

Наконец, возвращаюсь в свои покои, обставленные со всей роскошью, достойной моего происхождения. Со стены на меня, замершего в дверях, взглянул со своего гобелена — *плаката* — Робокон, отважный борец за справедливость, и отдал мне честь. Я учтиво поприветствовал его в ответ.

Хотя кто-нибудь посторонний в этот момент мог бы заметить, что этот храбрый защитник невинных скорее подошел бы в кумиры какому-нибудь Дугал, я нашелся бы чем ему возразить, и привел в доказательство то, что в свои скромные смертные годы уже состою в рядах курсантов полицейской академии и от своего будущего ожидаю подвигов, не меньших, чем у отважного Мёрфи.

С той же стены, правее от гобелена, с большой гравюры отсалютовал мне горящим деревом Зигфрид, ради такого случая он даже немного отвлекся от избивания змея. Я повторил его жест.

Прошел к окну и сел в стоявшее там оббитое зеленым бархатом кресло. Я был еще ребенком, когда впервые услышал Песнь Нибелунгов от своего ментора, благородного Нидриха. Он прочел ее мне в саду, и по сию пору, бывало, стоило мне закрыть глаза и прислушаться к дремавшим где-то в памяти звукам четкой, отменно поставленной речи наставника, то вместе

с ними возвращался ко мне и аромат благоуханного яблоневого цвета, укутавшего тогда нашу беседку. Он читал, и воочию являлись мне видения бургундского двора слабовольного Гюнтера, бранных подвигов Зигфрида и даже ссоры двух королей на ступенях Вормского собора.

Я улыбнулся, вспоминая, как проводил потом многие часы во все том же саду фригольда, воображая себя героем ничуть не меньшей славы.

— Ах, — вздохнуло от шкафа зеркало: — А помните, господин, как твердили вы в те годы: “Хочу быть как Зигфрид! Университетов глупых не кончать, а девиц спасать! Сидя день за партой, злодеев не убьешь!” И подкладывали толстый том “Арифметики и складов” под ваш тощий зад в зеленых штанишках?..

Я проигнорировал глупое старого зеркала. Когда-то оно получило наказ от моей матушки следить за тем, ровно ли сидит на мне камзол, и не прицепился ли нигде сор после игр в саду, но с годами химеру постигла участь многих нянюшек, и она сделалась до невозможного сентиментальной. Но заменить добрую служанку, верой и правдой прослужившую мне столько лет, у меня не поднималась рука, ведь, в конце концов, она была ни в чем не виновата.

Из внутреннего кармашка своего жилета я выудил образок. Одно нажатие подушечкой большого пальца к не приметному завитку сбоку и серебряная крышечка отомкнулась. Внутри дремал выписанный маленькой кисточкой портрет черноволосой Ши. Заметив мой взгляд, красавица сразу заулыбалась и послала воздушный поцелуй своей бледной точеной рукой.

Добрая леди Первинка. Я был уверен, что ей, столь близкой к людям, и Зима окажется нипочем, как цветку, с которым она была повязана именем. И, подобно той хрупкой фиалке, останется в живых тогда, когда засохнут все остальные цветы, а в “вазе” срединного мира останется только жалкая капля, всего одна капля живительного гламура.

Смотрел, и видел в ней свою Кримхильд, неравную, но дарованную судьбой. Совершенно невозможный союз сына Сокола с дочерью Древа без листьев, но тем прекрасней становилась для меня эта Дама.

Пока размышлял и любовался портретом, часы оттремели полдень.

Проклятье.

Накидываю стеганый камзол — *пальто* — прячу руки в карманы и выхожу из дома.

Ноги сами понесли по привычному маршруту: изогнутой луком улочке старого центра, к высокому мосту, застывшему над водой дремлющей кошкой.

Лед толстой корочкой по краям канала, желтый, неопрятный. Довольно сильное течение. Его видно.

Под моим пристальным взглядом ледяная вода почти сразу дрогнула, посветлела, возвращая мне августовский полдень с заскользившими по воде белыми птичками кораблей: четыре бумажных, один деревянный. Я сам вырезал его из коры, вот этим самым кинжалом, что лежал сейчас в правом кармане камзола. Бумажные благополучно уплыли, а вот деревянный, из благородного дуба, утонул. Кажется, его потопил дракон-бурун.

Налетевший порыв ветра бросил в лицо пригоршню снега и вода снова

стала черной, подобно сердцам обратившихся к Неблагодару.

Я перешел на другую сторону моста, но не смог разглядеть за блеском волн ни единого следа моего корабля.

Вздохнул, смиряя свое сердце, и продолжил свой путь к книжной лавке старого эшу, Ганса Пепуша. Мне нравилось там бывать, нравились удобные кресла в небольшом зале, всегда прекрасное собрание на полках. Там хорошо думалось.

Как известно, немецкая душа всегда открыто заявляет о себе везде, где только могла зайти речь об Искусстве, чувствах и Истине. Потому я отменно разбирался в книгах, неплохо стрелял из арбалета, и к восемнадцати годам успел прославить свой меч, разгромив банду красных шапок и обратив в бегство Синего Носоглодка, химеру, родившуюся из ужасной рекламы автомобильного радио, надиктованной столь противным голосом, что от него сразу начинали плакать дети, а Нетлы теряли пыльцу на лету.

“Вот”, — подумал, скользя кончиками пальцев по корешкам пухлых томов. — “Это книги. Они возвращают к гармонии, ко тому, что было утрачено человечеством в погоне за непонятным прогрессом, давшим миру только Банальность. Кому нужны эти машины, рычащие и вонючие чудовища, норотившие того и гляди пролиться огнем из брюха, тогда как лошадь будет благороднее и чище? И даже неприглядные их каштаны пахнут скорее сеном, травой, и не запирают горло, как выхлоп машины”.

Мне никогда не удавалось понять современные книги в их кричащих обложках. Они казались какими-то фальшивыми, шумом ни о чем, оставившим осадок особенно неприятный, когда обратился к ним в надежде отыскать ответы о мире, в котором теперь живу. Где в них красота характеров и благородство помыслов героев Скотта? А вот Диккенс...

Я только коснулся старинного тома с потускневшими от частых прикосновений буквами *Bleak House* на корешке, как по ушам ударил звонкий перестук копыт по мостовой старого Лондона, скрип старых половиц; на какое-то мгновение меня коснулся нежный запах фиалок, и вонючий чих смога, и прогорклая вонь ночлежки... Сушеной лаванды и старых бумаг. Перед глазами замелькало, сменяясь стремительно: лунный свет, сумрак, заря, восход, день — и тень, исполнская часовая стрелка на полу от указующего перста древней, позабытой всеми, скульптуры безымянного исполина.

“Вот ведь был великий мечтатель!” — думаю, пренебрегая уважением. Сотни лондонских мальчишек и сотни сотен фей были обязаны ему живительным гламуром в страшный век викторианской сухости.

Но, даже когда видение схлынуло, на губах еще стыл привкус отсыревшего дерева, а отяжелело оно от такого тумана и такого дождя, от которого не смогли бы спасти никакие стены, тем более такие древние.

Вот рыцарские романы. Сервантес, Ариосто... На страницах этих книг, написанных еще в седую — такую ли седую? — древность, с легкостью можно было найти ответы на то, как лучше низвергать чудовищ, какой подвиг можно преподнести Даме сердца, и какие опасности всегда рады подстеречь

настоящего рыцаря. А вот Зигфрид, мог ли он быть феей? Не помню, не знаю. Но сам текст древнего эпоса настаивал на том, что Зигфрид был не от мира людей, также как и Бринхильд, равная ему. А после того, как встретил их имена в Старшей Эдде, только утвердился в своих подозрениях. Нигде не смог также сыскать я ни даты его рождения, ни смерти, он точно был всегда, как это обыкновенно бывает с Ши.

Я проводил часы, перебирая ветхую ткань своей памяти, но так и не смог ничего припомнить о них. И сожалел, еще и оттого, что день за днем мир вокруг распадался на фрагменты, химерические и людские, возвращаясь к целому только в моей памяти, но и там целого было немного. Всегда считал унижительным перебирать черепки, полагая это занятием, достойным разве что немытого слуга, от которого несет, как от показавшейся под мартовским сугробом кошки.

Я коснулся наугад следующей книги, и пальцы прошиб озноб, и все вокруг закружилось в обрывочном и торжественно медленном калейдоскопе из белого света, белых бисквитных пирожных, формой напоминавших моллюска, и сладко-сладко таяла на языке вкус чая с размокшим на ложке бисквитом...

“А вот и тот, кто посвятил всю свою жизнь поискам утраченного времени”, — с невольным трепетом подумал я и сразу ощутил какое-то сродство с “последним денди девятнадцатого века”. Я читал историю его жизни, и знал, что писатель был обречен на долгие годы, до самой смерти, провести в обитой особым деревом комнате без окон. И вспоминать. Должно быть, он был из тех, исключительно ярких мечтателей, раз сумел выстроить свою многотомную эпопею, ни единой строчкой не затронув мир материальный. Только бесконечное переживание заново... Я не смог отогнать подозрение, что именно этим и занимается мой народ.

Обратно шел другой дорогой. Мне стало скучно, и я помахал рукой солнцу, и оно тотчас спустило ко мне своего герольда. Солнечный кролик отвесил мне чопорный поклон, заигравший сотней бликов по стеклышкам за соседней витриной, и был таков. Я протер глаза, проморгался, и обнаружил, что стою прямо напротив лавки часовщика.

За витриной, в углу, стояло какое-то кресло, с потертой, некогда роскошной суконной обивкой, и часы. Они были повсюду, большие и маленькие. Будильник, круглый, как у меня. Часы с крышечками, часы на цепочках, часы настенные... Не договорившись между собой о ведущей ноге, все они маршировали вразнобой, одной копмарной пародией на пехоту. Каждый из них настаивал на своём времени, и только стекло, по счастью, защищало меня от ужасного стрекота.

Я подумал, что эта какофония будет один в один с этим расколотым миром, где каждый день, как и эти ненастроенные, сломанные часы, приносил что-то новое, на что нужно всегда реагировать немедленно, и ни книги, ни даже наша память, пусть и обрывочная, не могла подсказать ответ.

Не рискну догадаться, сколько тут простоял.

Уши замерзли, а скрывшееся за домом солнце только усиливало чувство

обреченности. “Но если наш подлинный враг — это время, как же мне тогда быть?” — подумал, и зашагал прочь.

Небо заволокло покровом такой черноты, что я почти видел набухшие снегом коконы в чревах туч, а поднявшийся ветер завывал в оголенных ветвях и по крышам, обещая вскоре явить миру самую настоящую вьюгу.

Домой вернулся, охваченный тягостным предчувствием беды.

Настенные часы вкрадчиво тикали, темные в полумраке прихожей, точно уже все знали, все-все, и теперь намекали, вытикивали смерть.

Но попытка уйти в чтение ничего не дала. Проваливался сквозь строки, а они с готовностью смыкались над головой густой чернильной водой.

Книгу пришлось отложить, и, желая отвлечься, стал заново перебирать каждый миг прошедшего дня, как камешки у воды. Блеск и плеск...

Ну, конечно же!

Я подскочил, осененный догадкой.

Он все-таки блеснул! А тогда, у моста, и не заметил, задумавшись об ином. Он блеснул сквозь рябь, светлым якорьком с борта, а значит, водный дракон ещё держит корабль в кольцах, значит, его еще можно спасти.

Я облачаюсь в доспех, проверяю как выходит из ножен меч, беру две гантели, веревку и иду прочь из дома. К воде, крепко держа свою ношу.

Если время мой враг, тогда во что бы то ни стало, мне нужно успеть вонзить меч в его глотку, заstopорить шестерни и не дать перемолоть себя в его равнодушных тисках.

И спасти мой кораблик. Кораблям тоже не нравится одиночество.